



Неповторимая

Эдит
Пиаф

Я ни о чем
не сожалею...

Неповторимая (Алгоритм)

Эдит Пиаф

**Эдит Пиаф. Я ни о
чем не сожалею...**

«Алисторус»

УДК 784.071.2(44)
ББК 85.364.1

Пиаф Э.

Эдит Пиаф. Я ни о чем не сожалею... / Э. Пиаф — «Алисторус»,
— (Неповторимая (Алгоритм))

ISBN 978-5-906861-92-4

В книгу вошли воспоминания великой французской певицы, актрисы Эдит Пиаф, ее друга, режиссера Марселя Блистэна, и ее сводной сестры Симоны Берто. Мемуары Пиаф — это лишенный ложной стыдливости эмоциональный рассказ о любви, разочарованиях, триумфальных взлетах, об одиночестве и счастье, о возлюбленных и о друзьях, ставших благодаря ей знаменитыми артистами: о Шарле Азнавуре, Иве Монтане, Эдди Константине и др. Воспоминания Марселя Блистэна и сводной сестры Эдит Пиаф — это взволнованный, увлекательный рассказ о величайшей певице. Смерть дочери, безумие, наркотическая зависимость и неизлечимая болезнь — жизнь Эдит Пиаф, самой трогательной и искренней певицы XX века, порой напоминает сценарий драматического фильма.

УДК 784.071.2(44)
ББК 85.364.1

ISBN 978-5-906861-92-4

© Пиаф Э.
© Алисторус

Содержание

Эдит Пиаф	6
I	6
II	16
III	20
IV	25
V	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

**Эдит Пиаф, Марсель
Блистэн, Симона Берто
Эдит Пиаф. Я ни о чем не сожалею**

© Эдит Пиаф, Марсель Блистэн, Симона Берто

© ООО «ТД Алгоритм», 2016

Эдит Пиаф На балу удачи

I

*Но день придет, и звезды среди дня
Заблещут в небе синем для меня.
Тогда прощайте, серые дожди!
И здравствуй, жизнь, и счастье – впереди!*

Отчего бы мне не начать эти воспоминания – а я намерена вести их по прихотливому велению памяти – с того самого дня, когда судьба взяла меня за руку, чтобы сделать певицей, которой я, видимо, должна была стать?

Это случилось за несколько лет до войны, на улице, прилегающей к площади Этуаль, на самой обычной улочке под названием Труайон. В те времена я пела где придется. Аккомпанировала мне подруга, обходившая затем наших слушателей в надежде на вознаграждение.

В тот день – хмурый октябрьский полдень 1935 года – мы работали на углу улицы Труайон и авеню Мак-Магона. Бледная, непричесанная, с голыми икрами, в длинном, до лодыжек, раздувающемся пальто с продранными рукавами, я пела куплеты Жана Лемуара:

Она родилась, как воробышек,
Она прожила, как воробышек,
Она и помрет, как воробышек!

Пока подруга обходила «почтенное общество», я увидела, что ко мне направился какой-то господин, похожий на знатного вельможу. Я обратила на него внимание еще во время пения. Он слушал внимательно, но нахмурил брови.

Когда он остановился передо мной, я была поражена нежно-голубым цветом его глаз и немного печальной мягкостью взгляда.

– Ты что, с ума сошла? – сказал он без всякого предисловия. – Так можно сорвать себе голос!

Я ничего не ответила.

Разумеется, я знала, что такое «сорвать» голос, но это не очень меня беспокоило. Были другие, куда более важные заботы.

А он между тем продолжал:

– Ты абсолютная дура!.. Должна же ты понять...

Он был отлично выбрит, хорошо одет, очень мил, но все это не производило на меня никакого впечатления. Как истинно парижская девчонка, я реагировала на все быстро, за словом в карман не лезла и поэтому в ответ лишь пожала плечами:

– Надо же мне что-то есть!

– Конечно, детка... Только ты могла бы работать иначе. Почему бы с твоим голосом не петь в каком-либо кабаре?

Я могла бы ему возразить, что в продранном свитере, в этой убогой юбчонке и туфлях не по размеру нечего рассчитывать на какой-либо ангажемент, но ограничилась лишь словами:

– Потому что у меня нет контракта!

И добавила насмешливо и дерзко:

– Конечно, если бы вы могли мне его предложить...

– А если бы я вздумал поймать тебя на слове?

– Попробуйте!.. Увидите!..

Он иронически улыбнулся и сказал:

– Хорошо, попробуем. Меня зовут Луи Ленде. Я хозяин кабаре «Джернис». Приходи туда в понедельник к четырем часам. Споешь все свои песенки, и... мы посмотрим, что с тобой можно сделать.



«Я всегда хотела петь, точно так же, как всегда знала, что однажды у меня будет собственное место в истории песни. Я это чувствовала». (Эдит Пиаф)

Говоря это, он написал свое имя и адрес на полях газеты, которую держал в руке. Затем оторвал этот кусок газеты и вручил мне вместе с пятифранковым билетом. Уходя, он повторил:
– В понедельник, в четыре. Не забудь!

Я засунула бумажку и деньги в карман и снова стала петь. Этот господин позабавил меня, но я не очень поверила ему.

Вечером, когда мы с подругой вернулись в нашу узкую, похожую на шкаф комнату в убогой гостинице на улице Орфила, я решила, что не пойду на это свидание.

К понедельнику я совершенно забыла о назначенной встрече. Я еще лежала после полудня в постели, когда внезапно вспомнила о разговоре на улице Труайон.

– А ведь, кажется, сегодня мне предстоит встретиться с господином, который спросил, отчего я не пою в кабаре!

Кто-то рядом заметил:

– На твоём месте я бы пошла. Мало ли что может произойти!

Я усмехнулась.

– Может быть! Но я не пойду. Не верю больше в чудеса!

Тем не менее, спустя час, поспешно одевшись, я уже бежала к метро. Почему я переменила свое решение? Не могу ответить. Когда Рокки Марчиано, бывший чемпион мира по боксу, думает о том, что мог бы легко стать и гангстером, когда он вспоминает все ловушки, которые его подстерегали в жизни и которых он избежал без особых усилий, «просто так», наконец, когда он размышляет обо всех своих победах, – то говорит, что «на небе» есть кто-то, кто его очень любит. Я готова поверить в эти слова. Я шла на свидание без особых надежд, убежденная, что напрасно потеряю время, но... теперь мне ни за что на свете не хотелось бы пропустить это свидание.

«Джернис» находился на улице Пьер-Шаррон в доме 54. Было пять часов, когда я пришла туда; Лепле ждал меня у входа. Взглянув на часы, он сказал:

– Опоздание на час. Неплохое начало! Что будет, когда ты станешь звездой?

Я не ответила и последовала за ним, впервые переступив порог одного из тех фешенебельных ночных кабачков, казавшихся такой бедной девчонке, как я, пределом роскоши. Эти кабаре, где, по моим представлениям, подавали исключительно шампанское и икру, принадлежали к тому миру, в который я и мне подобные не допускались.

Пустой зал, кроме одного угла, где я увидела рояль, был погружен в полумрак. Там сидели двое – дама, о которой я позднее узнала, что она жена врача, и пианист, настоящий ас своего дела, и к счастью для меня, ибо я не имела ни малейшего представления о нотах.

Это не мешало ему превосходно – насколько я могу судить теперь, аккомпанировать мне. Я спела Лепле весь свой репертуар, по правде говоря, скорее разношерстный, чем сложный. В нем было все что угодно – от «жесточких» песенок Дамиа до сладких мелодий Тино Росси. Лепле прервал меня, когда, покончив с песнями, я собиралась приступить к оперным ариям.

Немного смущенная вначале, я довольно быстро освоилась. Чем, в сущности, я рисковала? А после того как Лепле вознаграждал меня за первые усилия несколькими обнадеживающими словами, я вложила в исполнение все сердце. И, пожалуй, не ради того, чтобы добиться ангажемента – он все еще казался мне маловероятным, – а просто чтобы доставить удовольствие этому господину, которому угодно было заинтересоваться мной и к которому я теперь испытывала доверие и почти симпатию.

Не пожелав, однако, выслушать арию из «Фауста», Лепле подошел и с удивительной мягкостью положил мне руку на плечо.

– Очень хорошо, детка, – сказал он. – Ты добьешься славы, я уверен. Твой дебют состоится в пятницу, и ты будешь получать сорок франков в день. Только нужно подумать о другом репертуаре. У тебя собственная манера пения, нужны песни, отвечающие твоей индивидуальности. Для начала выучи четыре: «Ни-ни, собачья шкура», «Бездомные девчонки», «Сумрачный вальс» и «Я притворяюсь маленькой». Выучишь к пятнице?

– Конечно!

– И вот еще что. У тебя нет другого платья?

– У меня есть черная юбка – лучше этой, и, кроме того, я вяжу себе свитер. Но он еще не закончен...

– А к пятнице ты успеешь закончить?

– Наверняка!

Я была не очень уверена в этом, но ответ сам сорвался с губ и прозвучал убедительно. Не могла же я рисковать всем из-за такой несущественной, как мне казалось, детали туалета.

– Хорошо, – сказал Лепле. – Завтра в четыре часа приходи сюда репетировать. – И с лукавым блеском в глазах добавил: – Постарайся успеть до шести! Из-за пианиста...

Я уже собиралась уходить, но он удержал меня:

– Как тебя зовут?

– Эдит Гассион.

– Такое имя не годится для эстрады.

– Меня зовут еще Таней.

– Если бы ты была русской, это было бы недурно...

– А также Дениз Жей...

Он поморщился:

– И все?

– Нет. Еще Югетт Элиа...

Под этим именем я была известна на танцевальных балах. Лепле отверг его так же решительно, как и остальные.

– Не густо!

Пристально и задумчиво посмотрев на меня, он сказал:

– Ты настоящий парижский воробышек, и лучше всего к тебе подошло бы имя Муано¹.

К сожалению, имя малышки Муано уже занято! Надо найти другое. На парижском аргю «муано» – это «пиаф». Почему бы тебе не стать мом Пиаф?²

Еще немного подумав, он сказал:

– Решено! Ты будешь малышкой Пиаф!

Меня окрестили на всю жизнь.

Назавтра я пришла на репетицию даже немного раньше назначенного времени. Лепле ждал меня вместе с актрисой Ивонн Балле, о которой мне было известно, что она вместе с Морисом Шевалье была «звездой» в «Паласе» и «Казино де Пари». Должно быть, Лепле предварительно рассказал ей обо мне (так он обычно поступал в отношении тех, кого любил), ибо она проявила, как мне сегодня кажется, удивительную любезность. Выглядела я замарашкой, но она словно не обратила на это внимания и с первой минуты отнеслась ко мне, как к товарищу по профессии, как к артистке. Пусть она знает, что я об этом не забыла и сохранила к ней чувство глубокой признательности.

Когда я кончила, она поздравила меня, предсказала мне карьеру, а затем, повернувшись к Лепле, добавила:

– Я хочу сделать этой девочке первый подарок как артистке. Певицы реалистического репертуара считают, что никак не могут обойтись без красного платка. Я против этой глупой моды. У малышки Пиаф не будет красного платка...

Сказав это, Ивонн Балле отдала мне свой шарф. Великолепный белый шелковый шарф. Который очень пригодился мне в день дебюта.

Наступила пятница. Я была не совсем готова. Репертуар свой я, впрочем, подготовила. Выучила три песни из тех, что выбрал для меня Лепле. Четвертая «Я притворяюсь маленькой», из репертуара Мистенгетт, – никак не давалась мне; вероятно, потому, что не очень нравилась.

¹ Moineau – воробей (фр.) – Примеч. перев.

² Mome – малютка, малышка (фр.) – Примеч. перев.

Мне так и не удалось ее выучить. Было решено, что я буду петь три песенки. С этой стороны, стало быть, все обстояло благополучно.

Но мой свитер! Не хватало еще одного рукава. Я все же принесла его с собой и, сидя в артистической, лихорадочно вязала, повторяя про себя текст песен. Каждые пять минут Лепле приоткрывал дверь и спрашивал:

– Ну как, рукав закончен?

– Почти...

Представление уже давно началось, и наступила минута, когда откладывать больше мой выход стало невозможно. По пятницам в «Джернис» обычно собиралось избранное общество. Сегодня Лепле хотел показать «всему Парижу» свою последнюю находку. Но я была лишь аттракционом в перегруженной номерами программе, и не могло быть и речи о том, чтобы выпустить меня после ведущих артистов «Джернис».

Сочтя, что он уже проявил достаточно терпения, Лепле явился за мной.

– Твоя очередь!.. Пошли!..

– Но...

– Знаю. Надень свой свитер! Будешь петь так...

– Но у него лишь один рукав!

– Что из того? Прикроешь другую руку шарфом. Не жестикулируй, поменьше двигайся – и все будет хорошо!

Возразить было нечего. Спустя две минуты я была готова к первому выступлению перед настоящим зрителем.

Лепле лично вывел меня на сцену.

– Несколько дней назад, – сказал он, – я проходил по улице Труайон. На тротуаре пела девочка, маленькая девочка с бледным и печальным лицом. Ее голос проник мне в душу. Он взволновал меня, потряс. Я хочу теперь познакомить вас с ней – это настоящее дитя Парижа. У нее нет вечернего платья, и если она умеет кланяться, то лишь потому, что я сам вчера только научил ее это делать. Она предстанет перед вами такой же, какой я ее встретил на улице: без грима, без чулок, в дешевой юбчонке... Итак, перед вами малышка Пиаф.

Я вышла. Объяснение леденящей душу тишине, которая меня встретила, я нашла лишь много лет спустя. То не было выражением какой-то враждебности, а естественной реакцией хорошо воспитанных людей, задававших себе вопрос: не сошел ли внезапно с ума их хозяин?

Людей, которые пришли в кабаре, чтобы развлечься, и были недовольны, когда им напоминали о том, что на земле, совсем рядом с ними, а не где-то за тридевять земель, живут такие девушки, как я, которые недоедают и буквально погибают в нищете. Уж очень не вязалось мое поношенное платьишко и бледное, как у привидения, лицо с роскошной обстановкой вокруг. Не вызывало сомнений, что они обратили тоже на это внимание. Панический страх, о существовании которого еще минуту назад я даже не подозревала, внезапно парализовал меня.

Я бы охотно повернулась и ушла со сцены. Но дело в том, что я не принадлежу к числу тех, кто пасует перед трудностями. Наоборот, они еще более подстегивают меня. В тот момент, когда я уже чувствую себя побежденной, у меня откуда-то берутся новые силы для продолжения борьбы. Я не покинула, стало быть, сцену. Прислонившись к колонне, заложив назад руки и откинув голову, я начала петь:

А у нас, у девчонок, ни кола ни двора,
У верченых-крученых, эх, в кармане дыра.
Хорошо бы девчонке скоротать вечерок,
Хорошо бы девчонку приголубил дружок...

Меня слушали. Мало-помалу мой голос окреп, вернулась уверенность, и я даже рискнула посмотреть в зал. Я увидела внимательные, серьезные лица. Никаких улыбок. Это меня ободрило. Зрители были «в моих руках». Я продолжала петь, и в конце второго куплета, забыв об осторожности, к которой призывал мой неоконченный свитер, сделала жест, всего один – подняла вверх обе руки. Само по себе это было не плохо, но результат оказался ужасным. Мой шарф, прекрасный шарф Ивонн Балле, соскользнул с плеча и упал к моим ногам.

Я покраснела от стыда. Теперь ведь все узнали, что свитер был с одним рукавом. Слезы навернулись на глаза. Вместо успеха меня ждал полный провал. Сейчас раздастся смех, и я вернусь за кулисы под общий свист...

Никто не рассмеялся. Последовала долгая пауза. Не могу сказать, сколько она длилась, мне она показалась бесконечной. Потом раздались аплодисменты. Были ли они начаты по сигналу Лепле? Не знаю. Но они неслись отовсюду, и никогда еще крики «браво» не звучали для меня такой музыкой. Я пришла в себя. Я боялась худшего, а мне была устроена «бесконечная овация». Я готова была расплакаться.

Внезапно, когда я собиралась объявить вторую песенку, в наступившей тишине раздался чей-то голос:

– А их у малышки, оказывается, полным-полно за пазухой!

Это был Морис Шевалье.

С тех пор мне приходилось слышать разные комплименты, но ни один из них не вспоминаю я с таким удовольствием, как этот.

Но после выступления радость моя погасла. Слишком уж все было хорошо! Я была совсем девчонкой, но жизнь успела надавать мне достаточно пинков и сделала подозрительной. Когда привыкаешь к подзатыльникам, не так-то легко приспособиться к иному отношению. Ясно, что все эти люди лишь посмеялись надо мной. Они аплодировали мне в насмешку...

Лепле успокоил меня. Он сиял.

– Ты их победила, – повторил он. – И так будет завтра и все последующие дни!

Он оказался добрым пророком, и мне не терпится сказать, чем я обязана Лепле. Любовь к песне мне привил, конечно, отец, но певицу из меня сделал Лепле. Певицу, которой было еще чему поучиться, но которой он внушил главное, дал первые и лучшие советы. Я словно и сейчас слышу его.

– Никогда не делай уступок зрителю! Великий секрет заключается в том, чтобы оставаться самим собой. Всегда будь сама собой!

По натуре довольно независимая, я не любила советчиков. Но Лепле относился ко мне так трогательно и тепло, что его поучения никогда не рождали во мне чувство протеста. Довольно скоро я стала звать его просто папой.

Я пела у него каждый вечер. Лепле и его друзья очень ловко делали мне устную рекламу. Меня никто не знал. Мои фотографии никогда не печатались в газетах, и, тем не менее, люди приезжали специально, чтобы послушать меня.

«Джернис» был модным заведением, и я перевидала здесь всех знаменитостей того времени – министров (среди них был один, который плохо кончил), богатых иностранцев, находившихся проездом в Париже, завсегдатаев скачек, банкиров, крупных адвокатов, промышленников, писателей и, разумеется, артистов кино и театра. Как настоящее дитя Парижа, я быстро освоилась со своим новым положением, и, немного опьяненная успехом, искусственный характер которого тогда ускользал от моего внимания, я, всего только неделю назад распевавшая во все горло на улицах, как Мари из романа Эжена Сю «Парижские тайны», находила совершенно естественным то, что каждый вечер мне аплодирует самый пресыщенный зритель столицы.

Разумеется, я не всегда отдавала себе в этом отчет.

Лепле сообщал, например, что в зале находятся Мистенгетт или Фернандель. «Ну и что?» – отвечала я, нисколько этим не взволнованная, и с великолепным и неосознанным апломбом шла петь свои песенки. Абсолютно уверенная в себе, несмотря на слепящий луч прожектора. Если бы я только понимала, сколько мне еще придется учиться, чтобы овладеть той профессией, которой я решила посвятить себя, то потеряла бы голос от волнения и, вместо того чтобы смело выходить перед столь взыскательными судьями, обратилась в бегство...

Но я не заглядывала так далеко и млела от свалившегося на меня счастья. Ведь я была «артисткой» – так, по крайней мере, мне представлялось – и принимала знаки поклонения, которые вознаграждали меня за все былые дни нищеты. Я была счастлива еще и потому – зачем скрывать? – что у меня появилось немного денег. Спустя несколько дней Лепле разрешил мне принимать деньги от публики. После выступления я ходила между столиками. Клиенты были людьми щедрыми, а один из них, сын короля Фуада, однажды вечером вручил мне билет в тысячу франков. Это был если не первый увиденный мною билет такого достоинства, то, во всяком случае, первый, принадлежавший мне лично.

Среди других воспоминаний, относящихся к этому периоду моей жизни, одно особенно дорого мне. Связано оно с приходом в кабаре Жана Мермоза, знаменитого летчика, которого его друзья прозвали Архангелом. Однажды Жан Мермоз пригласил меня за свой столик. Другие делали до него это тоже, но с дерзкой развязностью и безразличием клиентов, у которых карманы набиты деньгами. Эти люди явно желали оказать честь бедной певичке, предоставляя ей возможность поразвлечь их немного. В отличие от них Мермоз сам подошел ко мне и произнес слова, которые я никогда не забуду:

– Сделайте мне удовольствие, мадемуазель, и примите бокал шампанского.

Я смотрела на него с изумлением. Вид у меня был преглупый. Ведь меня впервые называли «мадемуазель»!

Еще большую радость я испытала через несколько минут, когда Мермоз купил у цветочницы всю корзину цветов для меня одной. Цветы мне дарили тоже впервые!

Вежливость такого человека, как Мермоз, производила тем большее впечатление, что некоторые посетители принимали меня неохотно. Помню одного известного театрального режиссера (я не стану называть его имя), который даже посоветовал Лепле просто-напросто выставить меня за дверь.

– Эта маленькая Пиаф убийственно вульгарна, – сказал он ему. – Если ты ее не выкинешь, клиенты перестанут ходить в твоё кабаре!

– Тем хуже для меня! – ответил ему Лепле. – Я, может быть, закрою «Джернис», но не брошу девчонку на произвол судьбы.

Ему пришлось также – но об этом я узнала много позднее – уволить одного из своих администраторов, когда этот человек, испытывавший ко мне неизвестно по каким причинам ненависть, заявил:

– Я или Пиаф, Лепле. Выбирайте!

Лепле любил меня, как отец. Он без устали повторял, что у меня талант. Но, вспоминая сегодня, как я пела тогда, я должна признать, что такое утверждение было довольно спорным. Мое пение интересовало лишь немногих слушателей. Я поняла это после того, как получила свой первый «гонорар» у Жана де Ровера, директора «Комедиа».

В тот вечер Жан де Ровера (его настоящее имя Куртиадес) принимал у себя знатного гостя – министра со свитой. И он решил развлечь своих гостей – показать маленькую певичку, услышанную им накануне в «Джернис», ту самую малышку Пиаф, которую надо было послушать поскорее, пока она не успела вернуться к себе на дно, откуда ее ненадолго извлекли.



«Артисты и публика не должны встречаться. После того как занавес падает, актер должен исчезнуть, как по мановению волшебной палочки». (Эдит Пиаф)

Я пришла в своем обычном свитере с круглым воротником, в трикотажной юбчонке. Меня сопровождал аккордеонист. Мои песенки? Мне позволили их спеть, но довольно быстро дали понять, что ждут от меня другого. Я была своеобразным феноменом, любопытным образчиком человеческой породы, приглашенным лишь для того, чтобы позабавить гостей. Они были об этом предупреждены, я сравнительно быстро в этом убедилась.

Стоило мне открыть рот или сделать незаметное движение, как они прыскали от смеха.

– Ну и смешная же она!.. Просто умора!.. Да еще с характером!

Я была для них клоуном. Надо мной смеялись, пусть беззлобно, но с той бессознательной жестокостью, которая заставила меня пережить ужасные минуты.

Прибегав к Лепле вся в слезах, я упала ему на плечо.

– Если бы вы только это видели, папа! Все потешались надо мной... Я ничего, ничего не умею делать. Мне надо еще всему учиться... А я уже вообразила себя артисткой!

Он успокоил меня.

– Раз ты, моя девочка, это почувствовала, тогда все хорошо. Когда сама знаешь, чего тебе не хватает, достичь этого можно всегда. Все зависит от воли и трудолюбия, За тебя я спокоен. Ты своего добьешься.

II

*Как живой, передо мной
Чужестранец молодой,
Наша встреча...
В сигаретном дыму
Сердце мчалось к нему
Каждый вечер.*

Начав новую жизнь, я, конечно, втайне сознавала, что мне чертовски повезло и что отныне от меня одной зависит не очутиться снова в том жалком состоянии, из которого меня извлек Лепле. Я продолжала встречаться со своими прежними друзьями, но переехала из Бельвиля в одну из гостиниц близ площади Пигаль. Вставала я поздно, но к своей профессии относилась серьезно и вторую половину дня, как правило, проводила у издателей песен. Я уже поняла, что у меня должен быть свой репертуар. Но сделать его было нелегко.

Я не собираюсь дурно отзываться об издателях. У меня среди них немало друзей. И сегодня я должна признать, что они правы, когда проявляют в своем деле большую осторожность. Стоит им увлечься, потерять голову – и они пропали! Вынужденные вкладывать значительные капиталы в издание любой песни, они всякий раз сильно рискуют, ибо не знают заранее, будет ли песня, как бы хороша она ни была, иметь успех. Поэтому они никогда не могут действовать наверняка. У писателя есть свои несколько тысяч читателей, которые купят его новую книгу, едва она поступит в книжный магазин. Отправляя книгу в набор, его издатель уверен: что бы ни случилось, столько-то экземпляров книги он продаст и деньги свои вернет.

С песнями все обстоит иначе. Оставив все надежды, вы устремляетесь в неизвестность. Песенка, которая вызывала сомнения, может стать популярна, а шедевр, на котором строились все коммерческие расчеты, – провалиться. Издатели это знают и потому весьма осторожны. Могу ли я их обвинять сегодня в том, что они не приняли меня с распростертыми объятиями, когда я наносила им свои первые визиты?

Я хотела, чтобы мне дали возможность первой исполнять новые песни. Я слишком много хотела. Ведь я не записывалась на грампластинки, не выступала на радио и в мюзик-холлах. Мое имя не было известно широким кругам публики. Хорошо было уж то, что мне разрешали петь песенки из репертуара других певцов, если они не оговаривали свое исключительное право на их исполнение.

Сегодня я все это понимаю. Но в те времена осторожная позиция издателей возмущала меня, и нередко хотелось уйти от них, хлопнув дверью. Но я сдерживала себя и, огорченная и удрученная, шла поплакать в жилетку Лепле.

– Они признают меня, когда я ни в ком не буду нуждаться!

– Такова жизнь! – философски отвечал он. – И самое смешное заключается в том, что, когда ты прославишься, десятки из них будут доказывать, что без их помощи ты бы никогда не пробилась!

Утешенная, я улыбалась.

И на другой день с новыми силами отправлялась к издателям...

Чтобы получить песенку, я готова была пойти на что угодно. История с «Чужестранцем» подтверждает это.

Однажды я пришла к издателю Морису Декрюку, в его контору на бульваре Пуассоньер. Он был из тех, кто первым поверил в меня и проявил дружеское участие. Его пианист проигрывал новые песни. Все они мне не нравились. Внезапно появилась очень элегантная блондинка, пришедшая репетировать свою программу. Это была певица Аннет Лажон.

Морис Декрюк представил нас друг другу, и после обычного обмена любезностями я скромно отошла в уголок, предоставив в распоряжение Аннет Лажон пианиста и рояль. Она начала с «Чужестранца»:

Добротой лучился взор,
И в глазах горел костер
Непонятный...

До этого мне не приходилось слышать песни, написанные моим нынешним другом Маргерит Монно. Тогда ее имя было еще мало известно. А это было одно из ранних и лучших ее произведений. С первых же тактов я была потрясена, забыла обо всем – забыла о комнате, в которой нахожусь, забыла о развешанных на ее стенах ярких литографиях, о расставленных ящиках с нотами и даже о самом Декрюке, стоявшем рядом со мной, положив руку на спинку стула. Это было похоже на умопомрачение. Или на классический удар в солнечное сплетение. Простые слова песни выражали мои собственные чувства. Точно такие же или похожие на них слова я произносила в жизни сама. И я понимала, что с подобным текстом смогу быть без особого труда искренней, правдивой и трогательной.

Когда Аннет Лажон кончила, я подошла к ней.

– О мадам!.. Не откажите в любезности исполнить песню еще раз. Это так чудесно!

Без тени подозрения, вероятно польщенная, Аннет Лажон повторила «Чужестранца». Я слушала с пристальным вниманием, стараясь не упустить ни слова, ни звука. Я осмелилась попросить у Аннет Лажон исполнить песню в третий раз, и она опять не отказала мне. Могла ли она подозревать, что за это время я выучу песню наизусть?

Аннет Лажон должна была репетировать и другие песни. Мое настойчивое присутствие могло показаться ей неуместным, и я удалилась. Я забралась в кабинет директора и решила не уходить до тех пор, пока не скажу Морису Декрюку два слова с глазу на глаз. Едва Аннет Лажон ушла, как я бросилась в атаку.

– Декрюк, будьте добры, отдайте мне «Чужестранца»!

Он посмотрел на меня с огорчением.

– Я вас очень люблю, детка, но вы просите невозможного. Почему бы вам не спеть...

Я не дала ему продолжать.

– Нет, мне не нужно никакой другой.

– Но Аннет спела ее впервые всего неделю назад, и она хочет быть некоторое время ее единственной исполнительницей. Это совершенно естественно...

– Я хочу эту песню! К тому же я уже знаю ее!

– Вы знаете ее?

– Мне не хватает двух-трех слов, но я как-нибудь с этим справлюсь.

Декрюк покачал головой.

– Поступайте как хотите! Я вам ничего не давал, я ничего не знаю, ничего не видел и ничего не слышал...

Издатель вел себя честно, но неделю я его изрядно ненавидела.

Вечером, придя в «Джернис», я объявила Лепле, что у меня есть «сенсационная» песня.

Он сказал просто:

– Покажи!

Не без смущения я призналась ему, что не смогла договориться с издателем и даже не располагаю «сокращенным вариантом» этой песни, которую уже так смело называла своей.

– Но я ее знаю и исполню сегодня вечером!

Он заметил, что без нот будет трудно аккомпанировать.

– Не волнуйтесь, папа! – возразила я. – Все устроится.

Я знала, что могу целиком довериться пианисту «Джернис», если мне память не изменяет – Жану Юреме. Достаточно было три или четыре раза напеть ему мелодию, чтобы он подобрал вполне приемлемый аккомпанемент.

И в тот же вечер я спела «Чужестранца».

Я не ошиблась в выборе этого произведения. И хотя песенка была написана не для меня, я верно почувствовала, что она превосходно отвечает моей индивидуальности. Успех был большой... «Чужестранец» надолго остался в моем репертуаре.

Спустя несколько дней Аннет Лажон пришла послушать меня. К счастью, я не знала, что она находится в зале. Мне сказали об этом после выступления. Чрезвычайно смущенная, я пошла поздороваться с ней. Она встретила меня холодно и, должна признать, это было оправданно.

– Вы сердитесь на меня? – спросила я.

Она улыбнулась.

– Нисколько! «Чужестранец» – чудесная песенка. На вашем месте я бы, вероятно, поступила точно так же.

Я глубоко убеждена, что Аннет Лажон сама не верила в свои слова, но, по натуре человек добрый, она решила проявить снисхождение.

И я была искренне рада, когда спустя некоторое время она получила «Гран при» за пластинку «Чужестранец».

Все тому же Лепле я обязана и своим первым участием в гала-концерте в цирке Медрано 17 февраля 1936 года. Я не забыла число.

Этот блестящий по исполнительским силам вечер был организован для сбора средств в пользу вдовы незадолго перед тем скончавшегося великого клоуна Антонэ. Поль Колен нарисовал обложку программки.

Спектакль открывался вступительным словом Марселя Ашара.

На афише были имена всех участников концерта, представлявших кино, театр, цирк и спорт.

Я гордилась тем, что нахожусь в их числе и что мое имя стоит в афише рядом с Шарлем Полиссье и Гарри Пидьсе (по алфавиту) и набрано том же шрифтом, что и имена других моих «коллег» – Мориса Шевалье, Мистенгетт, Прежана, Фернанделя и Мари Дюба.

Меня провожал Лепле. Мы выглядели довольно странной парой: он – высокий, изящный, в костюме от лучшего портного, я – маленькая, типичная парижаночка из района Бельвиль-Менильмонтан в своем свитере и трикотажной юбке.

Выступала я перед самым антрактом. Вышла взволнованная – ведь это было мое первое выступление перед зрителем «больших премьер»! – но исполненная решимости петь как можно лучше, чтобы оказаться достойной той чести, которую мне оказали, пригласив участвовать в таком концерте. Дебют оказался вполне удачным.

Лепле поцеловал меня, когда я выходила с арены.

– Ты совсем маленькая, – сказал он мне, – но большие помещения отлично подходят тебе.

Послушная добрым советам, я много работала и делала изрядные успехи. На это обратили внимание. Меня стали замечать в нашей среде. Я записала у «Полидора» свою первую граммпластинку – «Чужестранца», – и на нотах этой песенки моя фотография – кстати, ужасная – соседствовала с Аннет Лажон и Дамиа. Директора мюзик-холлов меня еще не знали, хотя я уже дебютировала на радио. После первого же выступления там я подписала с «Радио-Сите» контракт на десять недель.

Жак Буржа – мой добрый Жако, о котором я еще скажу, – впервые подарил мне песню, предназначенную специально для меня. На слова его прекрасной поэмы «Песня одежд» композитор Аккерман написал музыку. Я чувствовала, что нахожусь на пути к успеху, мною руководили верные друзья, я была счастлива.

– А ведь это только начало, – сказал мне однажды Лепле. – Через три недели мы выступаем в Канне, ты будешь петь на балу – в пользу «Детских кроваток»³.

³ «Детские кроватки» (фр.) – ежегодное благотворительное мероприятие, сбор средств от которого поступает в пользу детей-инвалидов. – Примеч. перев.

III

*Он застонал и упал ничком
С маленькой дыркой над виском.
Браунинг, браунинг...
Игрушка мала и мила на вид,
Но он на полу бездыханный лежит.
Браунинг, браунинг...
Из маленькой дырки в конце ствола
Появляется смерть, мала и мила.
Браунинг, браунинг...*

Лепле, радовавшийся возможности повезти меня в Канн и показать красоты не знакомого мне еще Лазурного берега, строил радужные планы. А над нами уже собирались грозовые тучи.

Предчувствовал ли он, что его дни сочтены? Думаю, да.

– Моя маленькая Пиаф, – сказал он однажды. – Мне сегодня приснился страшный сон. Я увидел свою бедную мать, она мне сказала: «Знаешь, Луи, час пробил. Готовься. Я скоро приду за тобой».

Я посоветовала ему не верить снам. На это он сказал:

– Может быть, детка. Но это не простой сон... Я ведь видел маму, понимаешь? Она меня ждет. Я чувствую, что умру. Меня огорчает лишь то, что ты останешься одна, а ты еще нуждаешься во мне. Тебе будут чинить зло, а меня не будет рядом, чтобы отводить удары.

Я ему сказала, что не хочу и слышать такие слова, что в Канне его мрачные мысли рассеются, и мы снова заговорили о предстоящих концертах. А потом я и вовсе позабыла об этом разговоре.

Прошла неделя. 6 апреля, в час ночи, я поцеловала папу Лепле перед уходом из «Джернис». Он напомнил мне, что завтра нужно быть в форме перед выступлением в «Мюзик-холле молодых», открытой передаче «Радио-Сите» из зала Плейель, и что я должна заехать за ним в десять утра, чтобы совершить небольшую прогулку в Булонский лес.

– Стало быть, – заключил он, – ложись пораньше! Я лицемерно ответила, что иду домой, и без всяких угрызений совести удрала на Монмартр к товарищам, ждавшим меня, чтобы отметить уход одного из них в армию. Наша небольшая компания провела веселую ночь в кабачке на площади Пигаль, и лишь в восемь часов утра я впервые подумала о том, что надо бы лечь в постель. Рассчитывая немного поспать, я решила позвонить Лепле и попросить его отменить нашу встречу.

– Алло, папа? – спросила я.

– Да.

– Вы не сердитесь, что я беспокою вас так рано? Но я не спала всю ночь – я вам объясню почему – и сейчас умираю от усталости. Поэтому, если вы ничего не имеете против, мы нашу встречу на десять часов пе...

Я не успела договорить – суровый голос прервал меня:

– Немедленно приезжайте! Сейчас же!

– Еду.

Мне и в голову не пришло, что я говорила не с Лепле. Меня поразило другое: папа не обратился ко мне на «ты», он был сердит. Я не спала и плохо выступлю в зале Плейель. Но раз он желает меня видеть, нечего и размышлять. Я вскочила в такси и поехала к Лепле на авеню Гранд-Арме.

Перед домом стояла небольшая толпа, удерживаемая кордоном полицейских. Это было странно, и я начала беспокоиться. По счастью, Лепле был не единственным жильцом в этом

доме. Я назвалась инспектору, стоявшему при входе. Он пропустил меня, и я вместе с каким-то мужчиной вошла в лифт.

– Вы и есть малышка Пиаф? – спросил он меня, пока кабина ползла вверх.

– Да.

Думая, что имею дело с журналистом, собирающимся взять у меня интервью, я ждала новых вопросов. Они не последовали. Человек лишь пристально наблюдал за мной, словно желая запомнить навсегда. Так мы поднялись до этажа Лепле, не сказав ни слова.

Дверь в его квартиру была раскрыта. В коридоре перешептывались незнакомые люди. Была здесь и Лора Жарни, кельнерша из «Джернис». Она сидела в кресле вся в слезах. От нее-то я и узнала страшную весть:

– Какой ужас! Луи убит!

Трудно, не впадая в литературные штампы, выразить словами то, что я тогда почувствовала. Как передать ощущение полной пустоты, нереальности, охватившее меня в течение одной секунды и сделавшее безразличной и бесчувственной, будто чуждой окружающему миру? Кругом входили и выходили люди. Они говорили со мной, но я им не отвечала. Я была словно живым трупом.

Не произнося ни слова, – мне потом это рассказали, – с застывшим взглядом загнипнотизированного человека и вялой походкой сомнамбулы я направилась к комнате Лепле. Он лежал на постели. Поразившая его пуля прошла через глаз, но не обезобразила лицо...

Рыдая, я упала на постель...

Начались ужасные дни.

Мне хотелось запереться дома, никого не видеть, чтобы поплакать в одиночестве. Хотелось остаться наедине со своим горем.

Но я забывала о том, что следствие продолжалось. Лепле умер при таинственных обстоятельствах. Не зная, какой версии придерживаться, комиссар Гийом решил выслушать всех, кто в какой бы то ни было мере был связан с директором «Джернис», – его друзей, служащих кабаре, артистов, завсегдатаев, всех... вплоть до актера Филиппа Эриа, который в то время и не думал, что станет позднее известным писателем и самым фотогеничным из членов Гонкуровской академии.

Я провела много часов в уголовном розыске, в каком-то мрачном кабинете; инспектора задавали мне тысячу вопросов, повторяя, что это не допрос, а дача показаний. Меня не подозревали в убийстве Лепле, но полицию интересовало, не была ли я соучастницей в этом деле. Вечером мною «заялся» сам комиссар Гийом. Ему не понадобилось и часа, чтобы отослать меня домой. Однако меня «просили» – настолько это было важно – находиться в распоряжении полиции.



Эдит Пиаф и Луи Лепле

Я вышла на набережную Орфевр усталая до потери сознания. Однако мне захотелось пройтись, и ноги сами привели меня к «Джернис». Заведение было, конечно, закрыто. Но некоторые служащие были там – официанты, метрдотели, цветочница и несколько артистов. Один из них – предпочитаю не называть его имя – с усмешкой сказал мне:

– Твой покровитель умер. С твоим талантом ты скоро снова будешь петь на улице.

Травля началась. Ужасная, гадкая. У сердечного, доброго и щедрого человека, каким был Лепле, в Париже было немало обязанных ему людей. Они даже не пришли на его похороны. Число моих собственных друзей тоже уменьшилось.

Я была замешана в скандале, обо мне писали страшные вещи, лучше было отныне меня игнорировать. Поэтому я не забуду никого в коротком списке людей, поддержавших меня в те ужасные дни, хотя нахожу в нем лишь Жака Буржа, аккордеониста Жюэля, Ж.-Н. Канетти, уже тогда верную мою Маргерит Монно, Раймона Ассо, с которым я только недавно познакомилась, и белокурую певицу Жермен Жильбер, мою товарку по «Джернис».

Я больше не ходила в уголовный розыск, но следствие не кончилось, и дело это, прекрасное лишь много месяцев спустя, подробно освещалось в печати. Любители сенсаций получали полное удовольствие. Поскольку же необходимой информации, вполне естественно, не хватало, репортеры, эти превосходные специалисты в жанре литературной фантастики, придумывали их сами. С дрожью разворачивала я теперь газеты, страшась найти там новые гнусности о покойном друге или о себе самой.

Мое горе? Кому до него было дело! Главное заключалось в том, чтобы ежедневно давать пищу читателю, жаждущему скандала. Эта драма превращалась под пером борзописцев в трагический роман с продолжением, героиней которого – и, вероятно, весьма колоритной, но явно антипатичной – была я. Хотя никто не утверждал этого прямо, газеты были полны намеков

относительно того, что я могла быть соучастницей убийц, если не прямой подстрекательницей преступления. Со мной не очень церемонились. Когда-то я мечтала увидеть свое имя в газетах. Теперь я его видела даже слишком часто!

Будь у меня деньги, я удрала бы на другой конец света. Но у меня их было мало. А те, что были отложены, быстро иссякли, поэтому я решила возобновить свои выступления. «Джернис» закрылся и, вероятно, навсегда. Но предложений было немало. Спекулируя на любопытстве зрителя и зная также, что я не могу претендовать на особые условия, директора многих кабаре охотно приглашали меня к себе. Оставалось лишь выбирать.

Я возобновила свои выступления в «Одетт», на площади Пигаль. Этот вечер я тоже буду помнить всю жизнь. В зале была ледяная, удручающая тишина. Никакой реакции. Ни свистков, ни аплодисментов. Я пела, но никто не обращал внимания на слова моих песен. Если бы я внезапно запела псалмы, думаю, никто бы тоже этого не заметил. Сюда пришли не для того, чтобы послушать певицу, а чтобы увидеть женщину, связанную с «делом Лепле». Я чувствовала на себе взгляды присутствующих и представляла, какими фразами они обмениваются, попивая шампанское:

– Разве вы не знаете, что она находилась под сильным подозрением? Ведь она пробыла в полиции сорок восемь часов...

– Нет дыма без огня...

– Да и никто не знает, кто она такая и откуда взялась. Ведь такой и фамилии – «Пиаф» – нет вовсе.

И с этим устрашающим молчанием я сталкивалась каждый вечер. Меня начинало интересовать, не превратилось ли в моду приходить в «Одетт» не для того, чтобы «аплодировать», а чтобы проучить маленькую певичку, вознамерившуюся продолжать работу, несмотря на скандал, в котором она была замешана. Однажды после первой песенки в зале кто-то свистнул. Я чуть не заплакала. Тогда за одним из столиков поднялся высокий, респектабельного вида мужчина лет шестидесяти и спросил:

– Почему вы свистите, сударь?

Тот усмехнулся:

– Разве вы не читаете газет?

– Читаю. Только я не берусь судить своих соотечественников. Если они находятся на свободе, значит, полагаю, они ни в чем не виновны. Если же они виноваты в чем-то, пусть правосудие воздаст им по заслугам. Сейчас одно из двух: либо певица, которую вы слышали, плоха, либо хороша. Если она плоха, сохраняйте тишину! В кабаре не свистят. Если она хороша – аплодируйте, не раздумывая над ее частной жизнью, – она вас не касается.

С этими словами мой галантный защитник сел. За некоторыми столиками зааплодировали. Сначала в его адрес. В мой – затем, когда он демонстративно присоединил свои хлопки к тем, что раздавались в зале.

Счастливый оборот, который приняли события, приободрил меня, но я отказалась продлить контракт, когда срок его истек. Ж.-Н. Канетти, чье дружеское участие в это трудное время было мне особенно дорого, организовал мои выступления в кинотеатрах рабочих районов. Я представляла там живой аттракцион. Принимали меня по-разному. Но я была упряма. Часть зрителей, приходивших послушать песни и получить их за свои денежки, поддерживали меня, и я всюду выступала с полной программой.

Но этот бой надо было всякий раз начинать сызнова, и он изматывал меня, Париж стал внушать мне ужас.

Импресарио Ломброзо подписал со мной контракт на гастроли по провинции. Я долго прожила в Ницце, где выступала в кабаре «Буат а Витесс», руководимом Скаржинским. Здесь мне было хорошо. Клиенты либо вовсе ничего, либо очень мало знали о деле Ленде, ибо газеты Побережья сообщали о нем скупно. Но мое материальное положение было не блестящим. Когда

ночью, после концерта, я заходила что-либо поесть в «Нэгр», в пассаже Эмиль-Нэгрэн, мне нередко приходилось брать тарелку макарон вместо слишком дорогого для меня бифштекса.

Когда вечно не хватает денег, это, конечно, не очень приятно, но не такая уж беда. Хуже, если теряешь вкус к жизни. Я переживала тогда именно такой кризис. С Лепле я потеряла все: и необходимого в моей жизни советчика и в особенности – привязанность, которую ничто не могло восполнить.

Наша встреча произошла по воле providения, в то время он как раз тяжело переживал смерть любимой матери. Семьи у него не было, не было и друзей, хотя он знал весь Париж. Лепле вел блестящий, бурный, веселый образ жизни и был одинок. Я тогда тоже похоронила свою двухлетнюю дочь Марселлу, умершую от менингита. Одиночество сблизило нас. В первый же наш совместный выезд в город мы отправились на кладбище Тиэ, где покоились его мать и моя дочка.

– Это они, – сказал он мне, – пожелали, чтобы мы встретились и не были одиноки...

Лепле умер. Что мне осталось? Я тщетно задавала себе этот вопрос. Любовь? Я как раз находилась под тяжестью одного разочарования, которое вызывало лишь мысли о самоубийстве. Работа? Она меня больше не интересовала. За многие недели я не разучила ни одной новой песни, я больше не репетировала, ничего не хотела делать. Усталая, потерявшая надежду, силы и волю, я чувствовала, что «качусь в пропасть». День, когда я снова стану уличной певицей, предсказанный мне после смерти Лепле, был явно не за горами...

По окончании срока контракта в Ницце я вернулась в Париж. На следующий день позвонила Раймону Ассо.

– Раймон, ты не хотел бы заняться моими делами?

– И ты еще спрашиваешь? – сказал он таким тоном, что у меня радостно забилося сердце. – Я жду этой минуты уже год. Бери такси и приезжай.

Я была спасена.

IV

*Я ничего и не знаю о нем...
Ночку одну провела с пареньком
Из Легиона.
Утром ушел мой милый дружок,
А над притихшей землею восток
Алел влюбленно.
Славно и сладко было мне с ним,
С ладным и статным солдатом моим
Из Легиона.
Был он ветрами пустынь опален.
В душу глазами горячими он
Глядел влюбленно.*

Я познакомилась с Раймоном Ассо у издателя Миларского, когда еще пела у Лепле. Как-то раз находившийся у него господин сел за рояль и попросил меня послушать песенку. С искренностью простушки, которая не умеет скрывать свои мысли, я заявила, что слова мне нравятся, а музыка – нет. Я не знала, что за роялем сидел сам композитор.

Он был достаточно тактичен, чтобы не сказать мне об этом, и достаточно умен, чтобы с улыбкой заметить:

– В таком случае можете поздравить автора текста. Это он сидит на диване...

То был Раймон Ассо. Длинный, худой, нервный с очень черными волосами и загорелым лицом, он с бесстрастным видом смотрел на меня, внутренне наслаждаясь комизмом этой сцены. Затем встал, мы поболтали с минуту, сразу почувствовав друг к другу симпатию, и у меня, сама не знаю отчего, появилось убеждение, что мы скоро увидимся снова.

И не ошиблась. Три дня спустя, когда я без дела бродила по своей комнате в гостинице Пиккадили на улице Пигаль, меня позвали к телефону. Говорил друг, служивший посыльным в большом отеле на площади Бланш.

– Я тут с приятелем, который видел тебя у одного издателя. Он страшно взволнован и хочет с тобой поговорить. Передаю ему трубку.

Я узнала его голос тотчас. Впрочем, уже с первых слов моего друга посыльного я поняла, что речь идет о Раймоне Ассо. Он объяснил, что хотел бы писать для меня тексты песен, и закончил приглашением пообедать. Я дала согласие на завтра.

Так в мою жизнь вошел Раймон Ассо...

Я вернулась в Париж потерянная, сломленная, во всем сомневающаяся, даже в себе самой. Раймон Ассо постарался в первую очередь сделать все, чтобы я вновь обрела веру в свои силы. На меня клеветали, меня оскорбляли, обливали грязью? Ну и что из того? Но я первая, не я последняя испытала на себе такой сильный удар! Нужно закалить свою волю, напрямь все мускулы и драться. Мы будем драться!

И Раймон Ассо дрался за меня с таким пылом и упорством, что невольно вызывал чувство восхищения. Он совершенно справедливо считал, что сделать карьеру в кабаре певица не может и что по-настоящему ее талант проявляется лишь на сцене мюзик-холла, в прямом контакте с массой зрителей.

Только там можно убедиться в своих ошибках, недостатках и, оценив их, сделать шаг вперед. Между тем я продолжала петь в кабаре, возобновила выступления по радио, где моим могущественным союзником стал художественный руководитель «Радио-Сите» Ж.-Н. Канетти. Но мне надо было непременно пробиться в «АВС». Однако Митти Гольдин, в дальнейшем мой большой друг, и слышать не хотел моего имени. Он был упрям.

Я его не интересовала, и он ни за что не желал меня приглашать к себе. Ассо взял его измором. Он ежедневно приходил в директорский кабинет на бульваре Пуассоньер. Гольдин выставлял его за дверь. Тот приходил снова. Первым сдался Гольдин. Чтобы не видеть больше моего ходатая в своей приемной, он подписал со мной первый контракт на выступление в мюзик-холле. Упрекнут ли меня в нескромности, если я добавлю, что он потом не жалел об этом?

Печать снова заговорила обо мне. На сей раз доброжелательно. Мне хочется привести здесь строки, написанные в «Энтрансижан» ныне покойным и уже забытым Морисом Верном:

«Малышка Пиаф – печальный и необузданный ангел народного бала. Все в ней дышит предместьем. За исключением одежды, напоминающей стиль 1900 года. Перед нами чудесным образом воскрешенная прическа певицы Клодин, отложной воротничок, черное платье, похожее на школьную форму. Малышка Пиаф обладает талантом. Когда ее слушаешь, невольно представляешь себе внутренний двор жилого дома, в котором гулко и громко разносится голос уличной певицы. Репертуар малышки Пиаф – как это трудно, господи! – еще литературно не отшлифован, ей нужны специально для нее написанные, реалистические песни, отражающие повседневную жизнь такого района, как ла Виллет, прокопченного дымом заводских труб и со звуками радио из соседнего бistro».

Такие специально для меня предназначенные песни стал сочинять Раймон Ассо. Очень непосредственные, искренние, без литературщины и, по счастливому выражению Пьера Пежея, «приветливые, как рукопожатие». Эти качества сообщили так называемой (и напрасно) «реалистической» песне новый стиль. Ассо предпочитает «реализму» слово «веризм». Термин значения не имеет. Важно то, что творчество Раймона Ассо отразилось на французской песне в «определенный момент ее истории». Оно направило ее развитие по новому пути и оказало глубокое воздействие на тех, кто шел за ним по пятам, – Анри Копте и Мишеля Эмера.

«Я сам связал себя следующими обязательствами, – пишет Ассо в предисловии к сборнику «Песни без музыки».

1. Никогда не писать, если мне нечего сказать.

2. А если уж пишу, стараться говорить лишь человеческие, правдивые вещи, вкладывая в них как можно больше чистоты.

3. Писать как можно проще, чтобы быть доступным всем».

Перечитайте его песни! «Париж – Средиземноморье», «Она ходила на улицу Пигаль», «Я не знаю ее конца», «Большое путешествие бедного негра», «Молодой человек пел» и другие... Они полностью отвечают этим трем обязательствам.

Поэтому они были и останутся шедеврами. Ведь Раймон Ассо – большой поэт.

Одна из его лучших песен, «Мой легионер», была подсказана ему историей из моей жизни.

Это не столько история, сколько – воспоминание.

Мне было семнадцать лет. Прошло уже много месяцев с тех пор, как, стремясь быть совершенно свободной, я бросила отца, с которым проработала все свое детство на площадях городов и сел. После многих и несчастливых происшествий я вообразила себя – да-да, не удивляйтесь! – директрисой бродячей труппы. О, труппа была невелика! Всего трое артистов, приблизительно одного возраста: цирковой акробат Камиль Рибон, не имевший себе равных в балансе на больших пальцах на краю стола, Нинетт, его «жена» и ассистентка, и я. Пела я тогда под псевдонимом «Мисс Эдит». Почему «Мисс»? Просто я считала, что так «лучше звучит». Злоупотребление на эстраде иностранными именами никогда не считалось пороком.

Мы давали представления в казармах. В этом смысле я шла по стопам отца. Самое трудное заключалось в том, чтобы попасть на прием к генералу и добиться у него согласия показать солдатам «развлекательное представление». Отказывали редко. Тогда оставалось лишь уточ-

нить у полковника дату и место выступления. В девяти случаях из десяти он говорил: «Завтра в столовой, после обеда».

В тот день мы работали в казарме Лиля, у ребят из колониальных войск. Я была «в кассе», то есть стояла в дверях, получая со зрителей по двадцать су за место. Понемногу кованая коробочка в моих руках стала заполняться монетами. Как вдруг ко мне подошел красивый блондин и заявил, что денег на билет у него нет, но что он, если меня это устраивает, готов расплатиться поцелуем.

Притворившись оскорбленной, я взглянула на него. Парень был не очень высок, но крепко сшит. Пилотка на затылке. Небрежно одетый, с сигаретой, прилипшей к губе. Красивое лицо и великолепные голубые глаза.

– Ну так что же? – спрашивает он. Я разрешаю ему пройти и говорю:

– А о поцелуе поговорим потом, если будете себя прилично вести.

В тот день я пела только для него.

После концерта он сделал вид, что не узнает меня. Тогда я ушла с достойным и безразличным видом...

Он догнал меня на полковом дворе. Поцеловал меня при луне, взял за руки и стал говорить, говорить, говорить... Когда проиграли зорю, мы все еще были вместе.

Прощаясь, он сказал:

– Меня зовут Альбер С., я служу во второй роте. Приходи ко мне завтра в семь!

Окрыленная любовью, я возвращалась домой пешком и пела всю дорогу. Позабыв о нищете, я считала, что стою на пороге счастья, и предавалась мечтам.

Назавтра в семь часов вечера я была в казарме. Там мне сказали, что Альбер на гауптвахте.

– Что он сделал?

– Подрался в казарме. Да вы не горюйте! Этот парень хорошо знаком с тюремной камерой! Он такой драчун, что почти не выходит оттуда...

Я была потрясена.

– И его нельзя повидать хотя бы на минуту?

Вид у меня был такой просительный, что сержант, узнав во мне вчерашнюю певицу, сжался.

– Мы приведем его сюда только для вас...

Спустя несколько минут он вошел под конвоем двух вооруженных солдат. В своем несчастье Альбер казался мне еще красивее. Не обратив на меня никакого внимания и прямо подойдя к начальнику гауптвахты, он спросил:

– Как вы полагаете, сержант, сколько мне дадут?

– Завтра узнаем. Учитывая твои прошлые «заслуги», это пахнет тремя неделями минимум.

Он сказал «а!» и только тут, повернув голову, удостоил меня своим вниманием.

– Это ты? Я не думал, что ты придешь. Чего тебе нужно?

Я ждала иного приема. Он это понял по моему изумленному виду. Его взгляд смягчился, и рука легла мне на плечо. Затем он сказал несколько ласковых слов, и я ушла утешенная.

После того как он отбыл наказание, мы встретились снова. Чтобы повидать меня, он перелез через стену казармы. Строя планы на будущее, Альбер отводил в них место и мне.

Пришлось набраться смелости и признаться, что я вовсе не собираюсь соединить с ним свою жизнь. Это известие было принято, как я того и опасалась, очень скверно.

– Даю тебе подумать до завтра, – сказал он мне на прощание.

Он требовал невозможного. И на другой день я попыталась убедить его в этом. Он выслушал меня, затем, не говоря ни слова, взял мою голову в свои руки, пристально посмотрел прямо

в глаза, наклонился ко мне, затем резко отстранился и ушел. Больше я его не видела. Он оставил меня в слезах, оплакивающей только что обретенное и тут же утерянное счастье.



Раймон Ассо (1901-1968) – французский поэт и легионер. Умер 10 октября 1968 года в возрасте 67 лет. Его последними словами были: «Я возвращаюсь к тебе, Эдит»

Три месяца спустя друзья сообщили мне о его смерти в колониях.

Этот вот дешевенький роман Раймон Ассо и использовал, когда писал «Моего легионера».

Прошло много лет. Я была уже не мисс Эдит, а Пиаф и пела в «Фоли Бельвиль», неудобном, но очень симпатичном народном театре, о превращении которого в заурядный современный кинотеатр многие из нас весьма сожалели. Морис Шевалье не даст мне солгать: именно сюда еще мальчишкой он приходил с матерью, чтобы аплодировать с галереи Майолю, Жоржель или Полон.

После концерта я выходила из театра с друзьями. В дверях ко мне подошел мужчина в кепке. Очевидно, парень из этого района. Недурно одетый, еще молодой, но рано располневший и с несколько обрюзгшим лицом. Кивнув мне и не снимая головного убора, он сказал:

– Привет!

Немного удивленная, я ответила четким «Здравствуйте, сударь». Он усмехнулся.

– «Сударь»? Ты меня не узнаешь? Бебер из колониальных...

Это был мой легионер! Оказывается, он не умер. И как же сильно отличался от того идеализированного солдата, которым мне запомнился. Пораженная, я что-то пробормотала. А он сказал:

– А ты, оказывается, кое-чего добилась! Теперь ты на коне!.. Можешь сказать, что тебе повезло...

Я не знала, что ответить. К счастью, он заметил, что отошедшие из деликатности друзья ждут меня.

– Иди же к этим господам, – сказал он. – Я был очень рад увидеть тебя снова.

И я ушла.

Немного грустная, но все же счастливая при мысли, что он не узнал себя в легионере из песенки.

Тот герой действительно умер.

Тот, которого я любила.

Хотя Раймон Ассо и Маргерит Монно написали «Моего легионера» для меня, первой исполнила эту песню не я.

Об этом стоит рассказать тоже, ибо история эта лишний раз доказывает, что содеянное зло не остается безнаказанным. Я украла «Чужестранца» у Аннет Лажон. У меня похитили «Моего легионера». Правосудие свершилось.

Однажды я завтракала у друзей. Заговорили о Мари Дюба.

– Я слышала ее вчера в «Бобино», – сказал кто-то. – У нее потрясающая новая песенка.

– Как она называется?

– «Мой легионер».

Я так и подскочила на своем стуле.

– Ведь это же моя песня! Я работаю над ней уже три недели. Ну нет, это так просто не пройдет! Проглотив кофе, я побежала искать Ассо.

– Что я узнала? Ты отдал «Легионера» Мари Дюба? Он протестует.

– Ничуть не бывало! Но песня, кажется, не очень нравилась тебе, и Декрюк, вероятно, предложил ее Дюба...

Морис Декрюк купил «Легионера» для издания. Бегу к нему, полная решимости высказать самым решительным образом все, что я обо всем этом думаю. Он прерывает меня на полуслове.

– Я никогда не показывал «Легионера» Мари Дюба. Вероятно, это сделала Маргерит Монно.

Бегу к Маргерит. Возмущенная, она вопиет о своей невинности.

– Это не я, а Ассо.

Круг замкнулся. Так я никогда и не узнала, от кого Мари Дюба получила мою песню. Я «отомстила» ей, перехватив позднее у нее «Вымпел легиона», написанный также Раймоном Ассо и Маргерит Монно.

О-ля-ля-ля-ля, история какая!
Тридцать солдат в бастионе сидят,
Сидят, загорая, о драке мечтая,
И булькает во фляжках вино у ребят,
И в ранцах сухари да патроны лежат,
О-ля-ля-ля-ля, история какая!
Над бастионом, где солдаты сидят,
Реет в синем небе слава боевая
Да, с бродягой-ветром поспорить рад,
Вымпел легиона смотрит на солдат.

Мари Дюба упрекнула меня однажды в этой... не деликатности. Я заметила ей, что теперь мы квиты. И мы стали лучшими в мире друзьями.

Я много раз повторяла – а теперь мне очень приятно написать об этом, – чем я обязана Мари Дюба. Она была для меня образцом, примером, которому я стремилась следовать. Это она раскрыла мне глаза на то, что такое подлинный артист – исполнитель песни.

В то время я еще пела в «Джернис». Избалованная Лепле, дружеским расположением и похвалами завсегдатаев кабаре, я была весьма высокого мнения о своих талантах. Это, в общем, простительно, ибо благодаря поистине чудесным событиям в моей жизни произошли большие перемены. Надо признать, впрочем, я была действительно невыносимой особой. То, что Митти Гольдин долгое время отказывался пригласить меня в «АВС», объяснялось очень просто: он запомнил нашу первую встречу. Я была вызвана к нему на четыре часа дня, а пришла с опозданием на сорок пять минут и, разыгрывая из себя звезду, стала диктовать свои условия – баснословный гонорар, привилегированное место на афише, исполнение минимум двенадцати песен и т. д. В то время как работала я на эстраде всего два года!

Я была именно такой вот самодовольной девчонкой, когда однажды вечером Раймон Ассо отвез меня в «АВС». Как я потом узнала, у него был свой план.

Звездой программы была Мари Дюба. Она вышла на сцену легкая, улыбающаяся, очаровательная, в белом платье, и я тотчас убедилась, что передо мной настоящая артистка. Меня ошеломило многообразие ее таланта. Она с поразительной легкостью переходила от комического к драматическому, от трагического к шутке. После разрывавшей сердце «Молитвы Шарлотты» Мари Дюба пела невероятно забавную песенку «Педро».

Едва выйдя на сцену, она уже держала в руках зрителя и не отпускала его до самого конца. Не имея представления о том, что такое настоящая работа над текстом и музыкой, я понемногу начала отдавать себе отчет, что в этом блестящем выступлении не было ничего случайного, никакой импровизации. Все мимика, жесты, движения, интонации – все решительно было тщательно отработано! Женщина, которая любит, хочет быть красивой ради любимого. Ради своего зрителя Мари стремилась быть идеальной.

Когда она кончила, глаза у меня были влажные, я даже забыла аплодировать. Недвижимая, молчаливая, подавленная тем, что я увидела и открыла для себя за эти полчаса, я словно во сне слышала Ассо.

– Теперь ты знаешь, что такое настоящая артистка? В течение двух недель утром и вечером я ходила на все концерты Мари Дюба. Для меня это были самые лучшие уроки мастерства.

И сегодня я по-прежнему восхищаюсь Мари Дюба.

Она навсегда останется для меня «великой Мари».

Несколько лет назад я встретила ее в Метце, где мы выступали на разных площадках. Во время разговора она заметила, что я обращаюсь к ней на «вы».

– Разве мы с тобой не на «ты», Эдит?

– Нет, Мари, – ответила я. – Я слишком вами восхищаюсь. Что-то для меня померкнет, если я стану говорить вам «ты»...

V

*Ах, папа, мое сердце – в огне!
Жан-Батист Шопен, – он представился мне.
Ездит он в автомобиле,
А живет в Бельвиле.*

Брюан

Несколько лет назад по дороге в Париж я остановилась позавтракать в Брив-ла-Гайард. Хозяин ресторана, шестидесятилетний, цветущего вида весельчак, встретил меня, как старого друга. Я никак не могла его вспомнить, и тогда он пояснил, что был когда-то метрдотелем в «Либертис», знаменитом кабачке на площади Бланш, где он меня и видел «сразу же после войны». Но не последней, а той, 1914 года.

Я быстро подсчитала, что мне было тогда пять-шесть лет, не более. Добряк явно путал меня с малышкой Муано, ставшей затем мадам Бенитец-Рейкзах.

Вспоминаю я об этом потому, что мне не доставляет никакого удовольствия, когда в моем еще отнюдь не преклонном возрасте меня принимают за предка.

Я родилась 19 декабря 1915 года, в пять утра, в Париже, на улице Бельвиль. Точнее говоря, перед домом № 72. Когда начались схватки, моя мать спустилась вниз, чтобы здесь дожидаться «скорой помощи», за которой побежал отец. Когда же карета приехала, я уже появилась на свет божий. Стало быть, я могу сказать, что родилась на улице. И хотя это уже само по себе довольно необычно, добавлю не менее колоритную деталь: в качестве акушеров при родах были... двое дежурных полицейских, два милейших блюстителя порядка, совершавших обход и привлеченных стопами моей матери, оказались на высоте положения.

Меня нарекли двумя именами – Джованной, которое мне никогда не нравилось, и Эдит. Эдит – потому что накануне газеты много писали о смерти героической мисс Эдит Кавелл, английской санитарки, расстрелянной немцами в Бельгии.

Моя мать называла себя Лин Марса, хотя ее настоящая фамилия была Майяр. Ее родители были артистами маленького бродячего цирка в Алжире, и девочка унаследовала профессию отца. Приехав в Париж, чтобы стать «артисткой», она выступала в кафе, исполняя популярные в народе песни «быта». Я всегда считала, что судьба позволила мне осуществить то, чего не удалось добиться ей, не потому, что у нее не было таланта, просто ей не улыбнулось счастье.

Отец мой, Луи Гассион, был акробатом. Человек необыкновенно талантливый, обладавший поразительной ловкостью и гибкостью, он выступал то в цирках, то на городских площадях, явно предпочитая работу на открытом воздухе. Всякая дисциплина вызывала в нем чувство протеста, даже когда она не очень, в общем, стесняла его.

Он любил жизнь во всех ее проявлениях и считал, что вкушать ее сполна можно лишь в условиях полной независимости. Поэтому мой отец всячески старался быть сам себе хозяином, идти влево или направо, куда вздумается, не подчиняясь ничьим приказам. Раскатав свой старый ковер на тротуаре, в бистро или в казарменной столовой, то есть в избранном им самим себе и им самим назначенный час, он показывал свой «номер», чувствуя себя свободным и счастливым. А поскольку был он человеком далеко не глупым, жизнь его складывалась весьма приятно.

Мать оставила его вскоре после моего рождения. Он поручил меня заботам двух моих бабок, живших в провинции. Лишь когда мне исполнилось семь лет, он взял меня с собой.

В тот момент он как раз подписал контракт с цирком Кароли, совершавшим турне по Бельгии. Жили мы в «караване». Я занималась хозяйством, мыла посуду. Мне было нелегко.

Но эта жизнь с вечно меняющимся горизонтом пришлась мне по душе, и я с восторгом общалась к незнакомому быту бродячем труппы и ее обычным атрибутам – к звукам оркестра, обсыпанным блестками костюмам клоунов и красным туникам дрессировщиков.

Но вскоре папа Гассион поссорился с Кароли, снова обрел свою дорогую свободу, и мы вернулись во Францию. Разъезжали мы по-прежнему, только спали не в вагончике, а в гостинице да отец был сам себе хозяином. И моим, разумеется, тоже. Он расстилал на земле коврик, зазывал публику, а затем показывал помер, который, будь он несколько отшлифован, мог бы по достоинству занять место в программе цирка Медрано. Потом, указывая на меня, он обычно говорил:

– Теперь девочка обойдет вас с тарелкой. А затем, чтобы вас отблагодарить, она сделает опасный прыжок!

С тарелкой я обходила, а прыжок никогда не делала. Однажды в Форж-ле-Зо кто-то из зрителей запротестовал. Его поддержали остальные, также недовольные тем, что бродячие акробаты не выполняют обещание. Человек весьма находчивый, мой отец объяснил, что я еще не поправилась после гриппа и очень слаба.

– Неужели вы хотите, чтобы ребенок сломал себе шею ради вашего удовольствия? – добавил он. – Но поскольку я был неправ и по привычке объявил ее номер, который, надо вам сказать, она выполняет играючи, а сегодня сделать не способна, она вам споет.

До сих пор я никогда в жизни не пела и не знала никаких песен. Разве что «Марсельезу». Да и то один припев!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.